

АНДРЕЙ УБОГИЙ

ВЕЛИКИЙ ЗЕМЛЕПРОХОДЕЦ

К 175-летию со дня рождения Н. М. Пржевальского

*Таких людей, как Пржевальский,
я люблю бесконечно.*

А. П. Чехов

Бывают, как писал Пушкин, странные сближения. Надо же: день рождения Н. М. Пржевальского приходится по новому стилю как раз на 12 апреля – на тот день, когда Гагарин побывал в космосе. Поэтому невольно сопоставляешь двух этих людей, двух героев, которые расширяли границы русского самосознания, открывали мир для России, и Россию – для мира.

Недаром Британское Королевское общество назвало Пржевальского “самым выдающимся путешественником мира”. А сдержанный Чехов в некрологе великому путешественнику написал о нём с таким пафосом, с каким никогда ни о ком не писал.

Личность Пржевальского была поразительно цельной и поразительно многосторонней. Одно перечисление его научных заслуг и открытий, им сделанных, занимает немало места и вызывает недоумение: как мог один человек, проживший не так уж и много (Пржевальский умер от тифа в возрасте 49 лет), совершить то, что под силу, кажется, только целым исследовательским институтам? Он и картограф, прошедший пешком и верхом около 35 000 (!) километров и составивший карты всех пройденных мест; он и зоолог, открывший несколько неизвестных ранее видов животных; он и орнитолог, чьи описания птиц и коллекции чучел не имели равных в России; он и климатолог, исследования которого установили, что средняя годовая температура Центральной Азии на 17,5°С (!) ниже, чем это считалось прежде. В сущности, Пржевальский открыл миру целый неизведанный континент, колоссальный по площади, загадочный и труднодоступный.

Не забудем, что генерал Пржевальский, кроме того, был знаменитым охотником и первоклассным стрелком. Он был, наконец, храбрецом, то усмирявшим китайских разбойников в Манчжурии, то атакующим и обращающим в бегство конных бандитов-дунган, чьё число в десятки раз превосходило численность небольшого отряда Пржевальского.

Но в дни юбилея хочется вспомнить о самом, главном таланте этого удивительного человека. Пржевальский является автором книг, несомненно и прочно вошедших в золотой фонд литературы о путешествиях.

Вообще, русская путевая проза – важная составляющая нашей великой литературы. По сути, она начинается со “Слова о полку Игореве”, повествуя-

щего о военном походе на половцев. А затем было и “Хожение за три моря” тверского купца Афанасия Никитина, и “Письма русского путешественника” Николая Карамзина, и “Путешествие в Арзрум” Александра Пушкина, и гончаровский “Фрегат “Паллада””...

И даже на фоне всех этих ставших русской классикой произведений книги Пржевальского выделяются замечательной ясностью изложения, прямоотой и точностью взгляда на мир.

Несомненно, что путевая проза Пржевальского восходит к Пушкину — точнее, к его “Путешествию в Арзрум”. Именно по камертону пушкинской прозы — решительной, точной и благородно-простой — выстроены многие страницы книг Пржевальского. Порой даже кажется: именно Пржевальский и совершил за Пушкина то самое путешествие в Китай, на которое поэт безуспешно испрашивал разрешения властей в 1829 году. Словно бы напрямую от Пушкина путешественник перенял удивительную способность прямого, отважного, ясного взгляда на мир. Это взгляд одновременно ребёнка — и воина, человека, влюблённого в жизнь, но при этом способного твёрдо взглянуть в лицо собственной смерти.

Можно провести немудрёный эксперимент, подтверждающий сказанное. Вот, к примеру, несколько почти наугад выбранных мест из “Путешествия в Арзрум”:

“Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших местах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественников; по тучным пастбищам

*Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны.*

Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся их уродливые, косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского.

*На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Всё семейство собралось завтракать. Котёл варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное вверху кибитки. Молодая калмычка, очень собою недурная, шила, куря табак. Я сел подле неё. “Как тебя зовут?” — “***”. — “Сколько тебе лет?” — “Десять и восемь”. — “Что ты шьёшь?” — “Портка”. — “Кому?” — “Себя”. Она подала мне союю трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушёной кобылятины; я был и тому рад. . .”*

“На другой день поутру отправились мы далее. Турецкие пленники разрабывали дорогу. Они жаловались на пищу, им выдаваемую. Они никак не могли привыкнуть к русскому чёрному хлебу. Это напомнило мне слова моего приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: “Худо, брат, жить в Париже: есть нечего; чёрного хлеба не допросишься!”

“Переезд мой через горы замечателен был для меня тем, что близ Коби ночью застала меня буря. Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединённый монастырь, озарённый лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками. Бешеная Балка также явилась мне во всём своём величии: овраг, наполненный дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревавший. Берега были растерзаны; огромные камни сдвинуты были с места и загромождали поток. . .”

А теперь предлагаю читателю несколько выписок из книги Николая Михайловича Пржевальского “Путешествие в Монголию и страну тангутов”. Легко можно видеть их близость и по духу, и по стилю к пушкинским текстам. И это настолько достойная проза — прямая и точная, полная сдержанной силы, — что трудно остановиться, цитируя Пржевальского.

“Алашанская пустыня на многие десятки, даже сотни вёрст представляет одни голые сыпучие пески, всегда готовые задушить путника своим паля-

щим жаром или засыпать песчаным ураганом. Иногда эти пески так обширны, что называются монголами “тынгери”, то есть “небо”. В них нигде нет капли воды, не видно ни птицы, ни зверя, и мёртвое запустение наполняет невольным ужасом душу забредшего сюда человека”.

“14 сентября мы пришли в город Дынь-Юань-ин и в первый раз за всё время экспедиции встретили радушный приём от местного князя... Имени князя узнать мы не могли, так как монголы считают грехом произносить имена своих начальников, а тем более передавать эти имена кому-либо чужому... Сам князь, человек лет сорока, имеет довольно благообразную физиономию, хотя всегда бледен, так как сильно предан курению опиума. По своему характеру он взяточник и деспот самого первого разбора. Пустая прихоть, порыв гнева, словом, личная воля заменяют всякие законы и тотчас же приводятся в исполнение без малейшего возражения с чьей-либо стороны. Впрочем, такой порядок существует во всей Монголии и во всём Китае без исключений”.

“Из обычаев монголов путешественнику резко бросается в глаза их обыкновение всегда ориентироваться по странам света, никогда не употребляя слов “право” или “лево”, словно эти понятия не существуют для номадов. Даже в юрте монгол никогда не скажет “с правой” или “с левой руки”, а всегда “на восток” или “на запад” от него лежит какая-нибудь вещь... Все расстояния у монголов меряются временем езды на верблюдах или лошадях: о другой, более точной мере номады не имеют понятия”.

“Самые ничтожные расстояния, хотя бы только в несколько сот шагов, монгол никогда не пройдёт пешком, но непременно усядется на лошадь... Пешая ходьба до того во всеобщем презрении у номадов, что каждый из них считает стыдом пройти пешком даже в юрту близкого соседа”.

“Ламаистское учение пустило здесь такие глубокие корни, как, быть может, ни в одной другой стране буддийского мира. Созерцание, поставляемое монголами высшим идеалом, в сочетании с образом жизни номада, заброшенного в пустыню, и породило тот страшный аскетизм, который заставляет его отрешаться от всяческого стремления к прогрессу, а взамен того искать в туманных и отвлечённых идеях о божестве и загробной жизни конечную цель земного существования человека”.

“Монгол никогда не пьёт сырой, холодной воды, но всегда заменяет её кирпичным чаем, составляющим в то же время универсальную пищу номадов. Этот продукт монголы получают от китайцев и до того пристрастились к нему, что без чая ни один номад, ни мужчина, ни женщина, не может существовать и несколько суток. Целый день, с утра до вечера, в каждой юрте на очаге стоит котёл с чаем, который беспрепятственно пьют все члены семьи; этот же чай составляет первое угощение каждого гостя. Вода употребляется обыкновенно солёная, а если таковой нет, то в кипяток нарочно прибавляется соль... Для более же существенной еды монгол сыплет в свою чашку с чаем сухое жареное просо и, наконец, в довершение всей прелести, кладёт туда масло или сырой курдючный жир. Выпить в течение дня 10 или 15 чашек, вместимостью равных нашему стакану, — эта порция самая обыкновенная для монгольской девицы; взрослые же мужчины пьют вдвое более”.

“Те монголы, которым мы давали чёрные сухари, попробовав их, обыкновенно говорили, что “в такой еде нет ничего приятного, только зубами стучаешь”. Птиц и рыб монголы, за весьма немногими исключениями, вовсе не едят и считают такую пищу поганой. Отвращение их в этом случае до того велико, что однажды на озере Кукунор с нашим проводником сделалась рвота в то время, когда он смотрел, как мы ели вареную утку. Этот случай показывает, до чего относительны понятия людей...”

“... путешественнику в среднеазиатских пустынях приходится выносить то палящий зной, то сибирский холод, и переход от одной крайности к другой чрезвычайно крут. Во время пути холод не так сильно чувствовался, потому что мы большею частью шли пешком... Как теперь, помню я это багровое солнце, которое пряталось на западе, и синюю полосу ночи, заходившую с востока. В это время мы обыкновенно развьючивали верблюдов и ставили свою палатку, расчистив предварительно снег, правда, не глубокий, но мелкий и сухой, как песок. Затем являлся чрезвычайно важный вопрос насчёт топлива, и один из казаков ехал в ближайшую монгольскую юрту купить аргала (сухого верблюжьего помета. — **А. У.**), если он не был приобретён заранее дорогой. За аргал мы платили дорого, но это всё ещё было меньшее зло;

гораздо хуже становилось, когда нам вовсе не хотели продать аргала, как это несколько раз делали китайцы. Однажды пришлось так круто, что мы принуждены были разрубить седло, чтобы вскипятить чай и удовольствоваться этим скромным ужином после перехода в 35 верст на сильном морозе и метели.

Когда в палатке разводился огонь, то становилось довольно тепло, по крайней мере, для той части тела, которая непосредственно была обращена к очагу; только дым щипал глаза и делался в особенности несносным при ветре. Во время ужина пар из открытой чаши с супом до того наполнял нашу палатку, что она напоминала в это время баню, только, конечно, не температурой воздуха. Кусок варёного мяса почти совсем застывал во время еды, а руки и губы покрывались слоем жира, который потом приходилось соскабливать ножом...

“Порядок наших вьючных хождений всегда был один и тот же. Мы с товарищем ехали впереди своего каравана, делали съёмку, собирали растения или стреляли попадавшихся птиц; вьючные же верблюды, привязанные за бурдуки один к другому, управлялись казаками... Так идёшь, бывало, часа два, три по утренней прохладе; наконец, солнце поднимается высоко и начинает жечь невыносимо. Раскалённая почва пустыни дышит жаром, как из печи. Становится очень тяжело: голова болит и кружится, пот ручьём льёт с лица и со всего тела; чувствуешь полное расслабление и сильную усталость. Животные страдают не менее нас. Верблюды идут, разинув рты, и облитые потом, словно водой; даже наш неутомимый Фауст бредёт шагом, понурился голову и опустив хвост. Казаки, которые обыкновенно поют песни, теперь смолкли, и весь караван тащится молча, шаг за шагом, словно не решаясь передавать друг другу и без того тяжёлые впечатления.

...Добравшись, наконец, до колодца и выбрав место для палатки, мы начинаем класть и развьючивать верблюдов. Привычные животные уже знают, в чем дело, и сами поскорее ложатся на землю. Затем ставится палатка и ставятся в неё необходимые вещи, которые раскладываются по бокам; в середине же расстилается войлок, служащий нам постелью. Далее собирается аргал и варится кирпичный чай, который летом и зимой был нашим обычным питьём, в особенности там, где вода оказывалась плохого качества. После чая, в ожидании обеда, мы с товарищем укладываем собранные дорогой растения, делаем чучела птиц или, улучив удобную минуту, я переношу на план сделанную сегодня съёмку”.

“... с вершины перевала, ведущего на другой путь, мы увидели в расстоянии 2 верст от себя кучу конных дунган, быть может, человек около сотни... Заметив наш караван, конные сделали несколько выстрелов и столпились при выходе из ущелья, по которому мы шли. Нужно было видеть, что делалось в это время с нашими проводниками. Полумёртвые от страха, они дрожащим голосом читали молитвы и умоляли нас уходить обратно в Чейбсен; но мы хорошо знали, что отступление только ободрит дунган, которые на лошадях всё-таки легко могут догнать наш караван, и потому решили идти напролом. Маленькой кучкой из четырёх человек, со штуцерами в руках, с револьверами за поясом двинулись мы впереди наших верблюдов, которых вели проводники-монголы, чуть было не убежавшие при нашем решении идти вперёд. Однако когда я объявил, что в случае бегства мы будем стрелять в них прежде, чем в дунган, то наши сотоварищи волей-неволей должны были следовать за нами. Положение наше действительно было весьма опасным, но иного исхода не предстояло... Расчёт оказался верен. Видя, что мы идём вперёд, дунгане сделали ещё несколько выстрелов, и наконец, подпустив нас не ближе как на версту (так что мы ещё не начали стрелять из штуцеров), бросились на уход в обе стороны большой поперечной дороги”.

“Как осеннее, так и, в особенности, весеннее путешествие караванов через Северный Тибет никогда не обходится благополучно. Много людей, а в особенности верблюдов и яков гибнет в этих страшных пустынях. Подобные потери здесь так обыкновенны, что караваны всегда берут в запас четверть, а иногда даже треть наличного числа вьючных животных. Иногда случается, что люди бросают все вещи и думают только о собственном спасении. Так, караван, вышедший в феврале 1870 года из Лассы и состоявший из 300 человек с 1 000 вьючных верблюдов и яков, потерял вследствие глубокого выпавшего снега и наступивших затем холодов всех вьючных животных и около 50 людей. Один из участников этого путешествия рассказывал нам,

что когда начали ежедневно дохнуть от бескормицы целыми десятками вьючные верблюды и яки, то люди принуждены были бросить все товары и лишние вещи, потом понемногу бросали продовольственные запасы, затем сами пошли пешком и напоследок должны были нести на себе продовольствие, так как, в конце концов, остались живыми только три верблюда, да и то потому, что их кормили дзамбой. Весь аргал занесло глубоким снегом, так что отыскивать его было очень трудно, а для растопки путники употребляли собственную одежду, которую поочередно рвали на себе кусками. Почти каждый день кто-нибудь умирал от истощения сил, а больные ещё живыми все были брошены на дороге и также погибли”.

“... Утром, часа за два до рассвета, мы вставали, зажигали аргал и варили на нём кирпичный чай, который вместе с дзамбой служил завтраком. Для разнообразия иногда... пекли в горячей аргальной, то есть навозной золе пшеничные лепешки. Затем на рассвете начинались сборы в дальнейший путь, для чего юрта разбиралась и вьючилась вместе с другими вещами на верблюдов. Всё это занимало часа полтора времени, так что в дорогу мы выходили уже порядочно уставши. А между тем мороз стоит трескучий, да вдобавок к нему прямо навстречу дует сильный ветер. Сидеть на лошади невозможно от холода, идти пешком также тяжело, тем более неся на себе ружьё, сумку и патронташ, что всё вместе составляет вьюк около 20 фунтов. На высококем же нагорье, в разреженном воздухе каждый лишний фунт тяжести убавляет немало сил; малейший подъём кажется очень трудным, чувствуется одышка, сердце бьётся очень сильно, руки и ноги трясутся; по временам начинаются головокружение и рвота... Затем наступало самое тяжёлое для нас время: долгая зимняя ночь. Казалось, что после всех дневных трудов её можно было провести спокойно и хорошо отдохнуть, но далеко не так выходило на деле. Наша усталость обыкновенно переходила границы и являлась истомлением всего организма; при таком полуболезненном состоянии спокойный отдых невозможен. Притом же вследствие сильного разрежения и сухости воздуха во время сна всегда являлось удушье, вроде тяжёлого кошмара, и рот и губы очень сохли. Прибавьте к этому, что наша постель состояла из одного войлока, насквозь пропитанного пылью и посланного прямо на мёрзлую землю. На таком-то ложе и при сильном холоде без огня в юрте мы должны были валяться по 10 часов сряду, не имея возможности спокойно заснуть и хотя на это время позабыть всю трудность своего положения”.

“... Глухой шум ещё издали возвестил нам приближение этого потока, масса которого увеличивалась с каждой минутой. Мигом глубокое дно нашего ущелья было полно воды, мутной, как кофе, и стремившейся по крутому скату с невообразимой быстротой.

Огромные камни и целые груды меньших обломков неслись потоком, который с такой силой бил в боковые скалы, что земля дрожала как бы от вулканических ударов. Среди страшного рёва воды слышно было, как сталкивались между собой и ударялись в боковые ограды огромные каменные глыбы.

Из менее твёрдых берегов и с верхних частей ущелья вода тащила целые тучи мелких камней и громадными массами бросала их то на одну, то на другую сторону своего ложа. Лес, росший по ущелью, исчез, все деревья были выворочены с корнем, переломаны и перетёрты на мелкие кусочки... Между тем проливной дождь не унимался, и сила бушевавшей возле нас реки возрастала всё более и более. Вскоре глубокое дно ущелья было завалено камнями, грязью и обломками леса, так что вода выступила из своего русла и понеслась по не затопленным ещё местам. Не далее 3 сажен от нашей палатки бушевал поток, с неудержимой силой уничтожавший всё на своём пути. Ещё минута, ещё лишний фут прибылой воды, и наши коллекции – труды всей экспедиции – погибли бы безвозвратно... Спасти их нечего было и думать при таком быстром появлении воды; в пору было только самим убраться на ближайшие скалы. Беда была так неожиданна, так близка и так велика, что на меня нашёл какой-то столбняк; я не хотел верить своим глазам и, будучи лицом к лицу со страшным несчастьем, ещё сомневался в его действительной возможности. Но счастье и теперь выручило нас. Впереди нашей палатки находился небольшой обрыв, на который волны начали бросать камни и вскоре нанесли их такую грудку, что она удержала дальнейший напор воды, и мы были спасены”.

“Не берусь описать впечатлений той минуты, когда мы впервые услышали родную речь, увидели родные лица и попали в европейскую обстановку.

С жадностью расспрашивали мы о том, что делается в образованном мире, читали полученные письма и, как дети, не знали границ своей радости. Лишь через несколько дней мы стали приходить в себя и свыкаться с цивилизованной жизнью, от которой совершенно отвыкли во время долгих странствований. Контраст между тем, что было ещё так недавно, и тем, что теперь нас окружало, являлся настолько резко, что всё прошлое казалось каким-то страшным сном”.

Надеюсь, по этим отрывкам читатель сможет судить и о личности Николая Михайловича Пржевальского и о его замечательной прозе, а там, может быть, и сам познакомится с книгами великого русского землепроходца. Ибо книги Пржевальского – главный итог всех его путешествий; и они щедро дарят нам то, чего нам как раз больше всего не хватает: чувство радости жизни и благодарности ей.